

Хозяйка Повесть — эпизод 2 из 5

Теперь он ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. Всё ему казалось ново и странно. Но он до того был чужд тому миру, который кипел и грохотал кругом него, что даже не подумал удивиться своему странному ощущению. Он как будто не замечал своего дикарства; напротив, в нем родилось какое-то радостное чувство, какое-то охмеление, как у голодного, которому после долгого поста дали пить и есть; хотя, конечно, странно было, что такая мелочная новость положения, как перемена квартиры, могла отуманить и взволновать петербургского жителя, хотя б и Ордынова; но правда и то, что ему до сих пор почти ни разу не случалось выходить по делам.

Всё более и более ему нравилось бродить по улицам. Он глазел на всё как фланер.

Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности, он читал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге между строк. Всё поражало его; он не терял ни одного впечатления и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь народную, как будто поверяя на всем свои заключения, родившиеся в тиши уединенных ночей. Часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала идею, и ему впервые стало досадно за то, что он так заживо погреб себя в своей келье. Здесь всё шло скорее; пульс его был полон и быстр, ум, подавленный одиночеством, изощряемый и возвышаемый лишь напряженной, экзальтированной деятельностью, работал теперь скоро, покойно и смело. К тому же ему как-то бессознательно хотелосьвтеснить как-нибудь и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал или, лучше сказать, только верно предчувствовал инстинктом художника. Сердце его невольно забилося тоскою любви и сочувствия. Он внимательнее вглядывался в людей, мимо него проходивших; но люди были чужие, озабоченные и задумчивые... И мало-помалу беспечность Ордынова стала невольно упадать; действительность уже подавляла его, вселяла в него какой-то невольный страх уважения. Он стал уставать от наплыва новых впечатлений, доселе ему неведомых, как больной, который радостно встал в первый раз с болезненного одра своего и упал, изнеможенный светом, блеском, вихрем жизни, шумом и пестротой пролетавшей мимо него толпы, отуманенный, закруженный движением. Ему стало тоскливо и грустно. Он

начал бояться за всю свою жизнь, за всю свою деятельность и даже за будущее. Новая мысль убивала покой его. Ему вдруг пришло в голову, что всю жизнь свою он был одинок, что никто не любил его, да и ему никого не удавалось любить. Иные из прохожих, с которыми он случайно вступал в разговоры в начале прогулки, смотрели на него грубо и странно. Он видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинальнейшего чудака, что, впрочем, было совсем справедливо. Он вспомнил, что и всегда всем было как-то тяжело в его присутствии, что еще и в детстве все бежали его за его задумчивый, упорный характер, что тяжело, подавленно и неприметно другим проявлялось его сочувствие, которое было в нем, но в котором как-то никогда не было приметно нравственного равенства, что мучило его еще ребенком, когда он никак не походил на других детей, своих сверстников. Теперь он вспомнил и сообразил, что и всегда, во всякое время, все оставляли и обходили его.

Неприметно зашел он в один отдаленный от центра города конец Петербурга. Кое-как пообедав в уединенном трактире, он вышел опять бродить. Опять прошел он много улиц и площадей. За ними потянулись длинные желтые и серые заборы, стали встречаться совсем ветхие избенки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто; всё смотрело как-то угрюмо и неприязненно: по крайней мере так казалось Ордынову. Был уже вечер. Одним длинным переулком он вышел на площадку, где стояла приходская церковь.

Он вошел в нее рассеянно. Служба только что кончилась; церковь была почти совсем пуста, и только две старухи стояли еще на коленях у входа. Служитель, седой старичок, тушил свечи. Лучи заходящего солнца широкою струею лились сверху сквозь узкое окно купола и освещали морем блеска один из приделов; но они слабели всё более и более, и чем чернее становилась мгла, густевшая под сводами храма, тем ярче блистали местами раззолоченные иконы, озаренные трепетным заревом лампад и свечей. В припадке глубоко волнующей тоски и какого-то подавленного чувства Ордынов прислонился к стене в самом темном углу церкви и забылся на мгновение. Он очнулся, когда мерный, глухой звук двух вошедших прихожан раздался под сводами храма. Он поднял глаза, и какое-то невыразимое любопытство овладело им при взгляде на двух пришельцев. Это были старик и молодая женщина. Старик был высокого роста, еще прямой и бодрый, но худой и болезненно бледный. С вида его можно было принять за заезжего откуда-нибудь издалека купца. На нем был длинный, черный, очевидно праздничный, кафтан на меху, надетый нараспашку. Из-под кафтана виднелась какая-то другая длиннополая русская

одежда, плотно застегнутая снизу до верха. Голая шея была небрежно повязана ярким красным платком; в руках меховая шапка. Длинная, тонкая, полуседая борода падала ему на грудь, и из-под нависших, хмурых бровей сверкал взгляд огневой, лихорадочно воспаленный, надменный и долгий. Женщина была лет двадцати и чудно прекрасна. На ней была богатая, голубая, подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным платком, завязанным у подбородка. Она шла, потупив глаза, и какая-то задумчивая важность, разлитая во всей фигуре ее, резко и печально отражалась на сладостном контуре детски-нежных и кротких линий лица ее. Что-то странное было в этой неожиданной паре.